



*Моему первому читателю, жене,  
чьи глаза излучают мудрый свет; три  
черных самородка улыбаются с твоей  
радужной оболочки.*

*Моим детям — пальцам одной  
руки.*

*Моим родителям.*



Самые имена наши сливались  
в объятиях.

*Мишель Монтень.  
Опыты. Книга 1*

Тот, кто думает, предает.

*Паскаль Киньяр.  
Смерть от мыслей*

Я — два голоса, поющих в уни-  
сон. Когда один затихает вдали,  
другой нарастает.

*Шейх Хамиду Кане.  
Неоднозначное приключение*





—...Я знаю, я понял, я не должен был... Я, Альфа Ндие, сын очень старого человека, я понял, я не должен был... Видит Бог, теперь я знаю. Мои мысли — только мои, я могу думать, что хочу. Но говорить я не буду.

Все, кому я мог бы рассказать о своих тайных мыслях, мои братья по оружию, скоро уйдут — изуродованные, изувеченные, выпотрошенные так, что Господу Богу станет стыдно, когда они придут к нему в рай, или дьяволу — радостно, когда он будет принимать их у себя в аду, — уйдут, так и не узнав, кто я есть на самом деле. И оставшиеся в живых ничего не узнают об этом, мой старик отец ничего не узнает, и мать,

если она еще на этом свете, не догадается ни о чем. Тяжесть позора не усугубит для них тяжесть моей смерти. Они и представить себе не смогут, что я думал, что делал, как далеко завела меня война. Видит Бог, честь семьи не пострадает, во всяком случае внешне.

Я знаю, я понял, я не должен был. В прежней жизни я не решился бы, но в мире сегодняшнем, видит Бог, я позволил себе немислимое. И ни один голос не раздавался у меня в голове, чтобы остановить меня: голоса предков, голоса моих родителей замолкли, когда я задумал сделать то, что в конце концов сделал. Теперь я знаю, клянись тебе, я все понял, когда подумал, что могу думать все, что хочу. Это получилось само собой, без предупреждения, свалилось на голову, стукнуло, как железный шарик, падающий с неба войны, в тот день, когда погиб Мадемба Диоп.

Ах! Мадемба Диоп, мой больше чем брат, умирал слишком долго. Это было так тяжело, бесконечно долго, с утра, с самого рассвета, до вечера, кишки наружу, все нутро навыворот, как у жертвенного барана, разделанного мясником после церемонии. Он, Мадемба, еще не умер, хотя нутро у него уже было вывернуто наружу. Остальные-то попрятались в зияющие раны

на теле земли, которые называют окопами, а я остался лежать рядом с Мадембой, вложив правую руку в его левую ладонь, и смотрел в исполованное железом холодное синее небо. Трижды он просил меня добить его, и я трижды отказывался. Это было до — до того, как я позволил себе думать все, что хочу. Если бы тогда я был таким, каким стал сейчас, я убил бы его с первого раза, как только он меня об этом попросил, повернув ко мне голову и держа свою левую руку в моей правой ладони.

Видит Бог, если бы я тогда уже стал тем, кто я сейчас, я зарезал бы его, как жертвенного барана, ради нашей дружбы. Но я думал о своем отце, о матери, о внутреннем голосе, который приказывает, как мне быть, и не смог перерезать ключую проволоку его страданий. Я не пожалел Мадембу, моего больше чем брата, моего друга детства. Я последовал долгу. Я мог предложить ему только неправильные мысли, мысли, продиктованные долгом, людскими законами, а жалости для него у меня не было.

Видит Бог, Мадемба плакал как ребенок, когда, обделавшись под себя и шаря правой рукой по земле, чтобы собрать вывалившиеся кишки, скользкие, как ужи, он в третий раз умолял меня



добить его. Он сказал мне: «Милостью Божией и милостью нашего великого марабута, если ты мне действительно брат, Альфа, если ты и правда такой, как я думаю, зарежь меня как жертвенного барана, я не хочу, чтобы смерть вгрызалась своей пастью в мое тело! Не бросай меня в этой мерзости. Альфа Ндие... Альфа... умоляю... зарежь меня!»

Но именно потому, что он заговорил о нашем великом марабуте, именно ради того, чтобы не преступать людских законов, законов наших предков, я не сжалился над Мадембой и позволил Мадембе, моему больше чем брату, моему другу детства, умирать с глазами, полными слез, умирать, нашаривая дрожащей рукой в грязи, на поле боя, собственные кишки, чтобы засунуть их обратно во вспоротый живот.

Ах, Мадемба Диоп! только когда ты умер, только тогда я по-настоящему начал думать. Только после твоей смерти, в сумерках, я узнал, я понял, что больше не стану слушать голос долга, голос, который приказывает, навязывает выбор. Но было слишком поздно.

Когда ты умер, когда твои руки перестали двигаться, когда ты наконец обрел покой, избавился с последним вздохом от грязи и боли, только то-

гда я подумал, что не должен был тянуть, ждать чего-то. Я вдруг понял — слишком поздно, — что мне следовало зарезать тебя сразу, как только ты меня об этом попросил, когда твои глаза еще были сухими и я сжимал в ладони твою левую руку. Не должен я был давать тебе страдать вот так, словно одинокому льву, которого заживо едят гиены, — с нутром навыворот. Я позволил тебе умолять себя из неправильных соображений, то были чужие, готовые мысли, слишком красивые, чтобы быть честными.

Ах, Мадемба! как я жалею, что не убил тебя еще утром, когда шел бой, когда ты просил меня об этом еще по-доброму, по-дружески, с улыбкой в голосе! Зарежь я тебя в тот момент, это стало бы последней доброй шуткой, которую я сыграл бы с тобой в этой жизни, и мы бы навеки остались друзьями.

Но вместо этого я оставил тебя умирать, ругая меня, плача, пуская слюни, воя, испражняясь под себя, словно ненормальный ребенок. Во имя сам не знаю каких людских законов, я бросил тебя на произвол твоей несчастной судьбы.

Может быть, чтобы спасти свою душу, может быть, чтобы остаться таким, каким хотели, чтобы я был пред Господом и людьми, те, кто меня

воспитал. Но пред тобой, Мадемба, я оказался неспособен быть человеком.

Я позволил тебе проклинать себя, дружище, тебе, моему больше чем брату, позволил выть от боли, богохульствовать, а все потому, что я еще не умел думать самостоятельно.

Но как только ты умер, испустив последний стон, среди вывалившихся наружу внутренностей, друг мой, мой больше чем брат, как только ты умер, я сразу понял, что не должен был бросать тебя вот так.

Я немного подождал, лежа рядом с твоими останками, глядя, как в вечернем синем-синем небе пролетает искрящийся хвост последних трассирующих пуль. И как только тишина опустилась на залитое кровью поле боя, я стал думать. Ты же был теперь всего лишь кучей мертвого мяса.

Я сделал то, что у тебя не получалось сделать весь этот день, из-за того что рука у тебя дрожала. Я благоговейно собрал твои еще теплые внутренности и сложил их тебе в живот, будто в священный сосуд. В полумраке мне показалось, что ты улыбнулся мне, и я решил отнести тебя к нашим. Ночь была холодная, но я снял гимнастерку и рубаху тоже снял. Рубаху я просунул

под твоё туловище, а рукава связал у тебя на животе, туго связал двойным узлом, который сразу окрасился твоей чёрной кровью. Затем схватил тебя в охапку и потащил в окоп. Я нес тебя на руках, как ребёнка, мой больше чем брат, друг мой, я шёл и шёл по грязи, по рытвинам от снарядов, наполненным грязно-красной водой, пугая крыс, вылезших из нор, чтобы пожить-ся человечинной. Пока я нес тебя на руках, я начал думать, думать самостоятельно, просить у тебя прощения. Я знаю, я слишком поздно понял, что́ должен был сделать, когда ты просил меня с ещё сухими глазами, просил, как просят друга детства об одолжении, о чём-то само собой разумеющемся, запросто, без церемоний. Прости.